

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА

I

Годы проходят, с тех пор, как Париж провозгласил, 18 марта 1871 года, свою Коммуну; а между тем рабочие всех стран продолжают это восстание — эту попытку создать, в революционной столице Европы, ставшей вольным, независимым городом, ту почву, на которой могла бы развиваться пролетарская, социальная революция.

Мало того, мысль о Коммуне, независимой, вольной и начинающей у себя социальную революцию, сделала с тех пор такие громадные успехи, что будущая революция во Франции несомненно начнется именно с провозглашения вольных коммун.

Расскажем же вкратце это замечательное движение.

Но чтобы верно понять весь смысл Парижской Коммуны, надо вернуться назад — к февральской революции 1848-го года и к состоянию умов во Франции перед войною и во время войны 1870–1871-го года. Всё это теперь забыто, а молодому поколению революционеров преподносили столько извращенных отчетов об этих временах, что необходимо, хотя бы вкратце рассказать выдающиеся черты событий, пережитых Францией за это время.

24-го февраля 1848, после трехдневного боя на баррикадах, Парижский народ смёл правительство «буржуазного короля» Луи-Филиппа и провозгласил республику.

Эту победу одержал народ, рабочие. Они покрыли весь город баррикадами, которые шаг за шагом подступали из предместий к центру, ко дворцу. Они доставали оружие, гибли под пулями. Буржуазная же национальная гвардия помогла революции только тем, что — тоже недовольная реакционной политикой короля, она, не становясь на сторону революции, тем не менее парализовала войска своим присутствием на улицах, мешала им и отчасти прикрывала, таким образом, сражавшийся народ.

Наконец, 24 февраля, баррикады подступили к самому дворцу. Король бежал. Народ, ворвавшись в Палату, разогнал депутатов и объявил республику. Франция и вся Европа, кто с радостью, а кто — скрепя сердце, признали это падение орлеанской монархии.

Но парижская буржуазия не теряла голову в перевороте. Она сейчас же выдвинула «Временное Правительство», из умеренных республиканцев, конечно, буржуазных, которые — она знала — не допустят до социалистической ломки буржуазного строя. Впрочем, в виде подачки народу, стоявшему с оружием в руках вокруг Ратуши, в правительство приняли

умеренного государственного социалиста Луи Блана и его товарища, рабочего Альбера. Но, конечно, из коммунистов (они тогда называли себя «коммунистами материалистами»), из которых слагались тайные общества Бланки, Барбеса и др., — которые и дрались на баррикадах, — буржуазия никого не допустила до участия в правительстве.

Рабочие же, потому ли, что не в силах были потребовать большего в ту минуту, так как буржуазная национальная гвардия могла обратиться против них, или же сами хорошенько не знали, как и с чего начать социальную революцию, — предоставили этому Временному Правительству утвердиться.

Притом у них должно было явиться и такое соображение. Раз назначалось правительство для всей Франции, — для всего французского народа, а не для одного Парижа, — надо было выбирать не известных рабочих, а таких людей, которых может признать вся страна — по крайней мере на время, пока не будет созвано Учредительное Собрание.

Только этого и нужно было буржуазии. Выпустив много красивых прокламаций, Временное Правительство стало организовать правительственную силу. Везде оно насаждало своих губернаторов (префектов), везде захватило полицию и суды, везде организовало буржуазную милицию.

Луи Блана и Альбера, с верившими им рабочими, «демократами-социалистами», правительство изолировало во дворце бывшей Верхней Палаты (Люксембурге), и там они стали обсуждать — сперва проекты рабочих производительных ассоциаций, которые должны были быть основаны со ссудой от правительства (если будут деньги), а потом — проекты государственного капитализма, разработанные Видалем и Пеккером в виде обширной законодательной меры, те самые проекты, которые нынче зовутся «коллективизмом» и выдаются за новейшее открытие немцами «научного социализма».

А буржуазия тем временем собирала войска вокруг Парижа, организовала свою тайную полицию и подкуп рабочих, сходилась с попами. Учредительное собрание, выбранное всеобщей и тайною подачею голосов, оказалось вполне буржуазным и явно враждебным рабочим. В то же время сторонним принца Людовика Наполеона вели свою пропаганду среди рабочего населения, указывая ему на враждебность республиканской буржуазии к социализму и вселяя надежду, что «принц», который написал книгу о пролетариате и принадлежал к тайному обществу карбонариев, — лишь бы ему добратся до власти, облагодетельствует рабочих. Эта проповедь империализма встретила не мало сочувствия среди государственных социалистов Луи Блановского толка (*прим.: С тех пор вера в диктатора, который возьмет в свои руки дело пролетариев, не переставала искусно поддерживаться во Франции, в Англии и в Германии и наделала много зла рабочему движению*).

Народ Парижа, и особенно коммунисты-материалисты тайных обществ, поняли тогда, что революции скоро положат конец, и попытались 15 мая свергнуть правительство и распустить Национальное Собрание. Но было уже поздно. Движение не удалось, и главных деятелей — Бланки, Барбеса и других — заперли в тюрьму.

Месяцем позже, буржуазия прямо вызвала парижский народ на восстание. У нее были теперь войска, собранные вокруг Парижа, и надежный генерал, чтобы командовать ими, а рабочие были доведены безработицей и голодовкой до отчаяния. В феврале они давали «три месяца нищеты на службу республике», в надежде, что тем временем что-нибудь будет сделано для рабочих. Теперь, когда всякая надежда на буржуазную республику пропала, они восстали. Сперва в их рядах еще слышались крики «Да здравствует Наполеон!» Но со второго дня восстания они выкинули на баррикадах красное знамя и их крик стал: «Хлеба или пуль! Работы или смерть! Да здравствует социальная республика!»

Бой был отчаянный, он длился несколько дней с ожесточением. Но рабочие были разбиты, тут началась та страшная реакция, которая длилась с тех пор целые двадцать лет.

Буржуазия свирепствовала всюду. Лучших людей из парижских рабочих перебили; пленных расстреливали кучами; других тысячами увозили в ссылку. А когда Париж обессилили, тогда и сама республика скоро была задушена, утоплена в крови Наполеоном III (1852).

Провозглашена была империя. Социализм стал запретным словом. Буржуазия подписывала большие суммы, чтобы пускать в обращение противосоциалистическую литературу, а прежнюю литературу конфисковали и истребляли. Забвение легло на всю громадную работу, сделанную социалистами во Франции до 1848 года.

Мрак наступил во всей Европе, когда вслед за Францией революционное брожение было задушено в Италии, в Австрии, в Пруссии, в Венгрии. И длился этот мрак вплоть до шестидесятых годов.

Только тогда явились признаки пробуждения во Франции, и в 1866 году из соглашения между парижскими и английскими рабочими сложился Международный Союз Рабочих, или Интернационал, с которого и началось новое движение европейского пролетариата.

В два-три года Интернационал быстро развился и стал силою. Число рабочих, приславших своих депутатов на ежегодные конгрессы Интернационала, и ежегодно возрастающая смелость их социалистических требований нагоняли страх на буржуазию. Парижские, лионские и другие рабочие, как только почувствовали новое движение, стали быстро отвечать на призыв. Лучшие люди из рабочих пристали к Интернационалу и выдержали из-за него в Париже три процесса. Старые заговорщики республиканцы, нерабочие, вынуждены были тоже зашевелиться, и вскоре сила империи была подорвана. Париж заволновался в своих глубинах. Повсеместно собирались митинги, о которых забыли думать с 1848 года — и на этих собраниях социализм и социальный переворот стали главным предметом обсуждения.

Наполеоновская империя разваливалась под напором молодых сил. Реакция пошла на уступки, призвала «либеральное министерство», — но всё это было ни к чему. Париж заволновался, и уже в день похорон Виктора Нуара, предательски убитого одним из князей Бонапартов, стало ясно, что дни Империи сочтены.

Тогда в июле 1870 года вспыхнула франко-немецкая война. Предлог войны, как всегда, был пустой; но оба правительства, наполеоновское и прусское, т.е. бисмарковское, оба

уверенные в победе, вынудили, ускорили давно уже собиравшуюся войну. Пруссия, которая ввела у себя, первая в Европе, всеобщую воинскую повинность, ограбила перед этим Данию; затем, разбивши Австрию, она стала во главе Германского Союза. Теперь война представлялась для нее, в случае победы, средством утвердить свое преобладание в Германии. А потому, зная, как сравнительно слаба была Франция, которая держалась еще старой рекрутчины, а потому не могла выставить более полумиллиона войска, — Бисмарк, посоветовавшись с Мольтке, сделал войну неизбежной. Он хвастался этим впоследствии. В ту минуту, когда все недоразумения уже улаживались, он подделал одну телеграмму и изменил ее так, что война была объявлена через несколько часов. Бонапартисты же, с своей стороны, тоже хотели войны; они были уверены, что победы Франции утвердят на престоле наполеоновскую династию, и кричали: «В Берлин!»

Известно, чем кончилась эта ужасная война. После отчаянного трехдневного сражения при Гравелотте, главная Французская армия была разбита; она отступала в полном замешательстве перед превосходившими ее силами немцев и, наконец, окруженная на бельгийской границе, 2 сентября сдалась вместе с Наполеоном. Таким образом пала империя. 4 сентября в Париже была провозглашена республика.

Теперь, с падением воинствующей Наполеоновской империи, война, казалось, должна была бы прекратиться. Так понимали дело рабочие в Интернационале — даже в самой Германии, — и почти одновременно юрцы в Швейцарии и центральный комитет рабочей социал-демократической партии в Брауншвейге-Вольфенбюттеле выпустили манифесты, требовавшие заключения мира. Немецкий манифест, за который члены комитета, Браке, Бонгорст, Шпир, Кюн и Гралле, смело пошли в крепость, был особенно замечателен, так как требовал, чтобы с падением Наполеона мир был немедленно заключен «без ущерба для французского народа».

Несколько дней спустя, генеральный совет Интернационала тоже выпустил подобное воззвание; а 14 сентября д-р Якоби и Гейб, оба из немецкой социал-демократической партии, пошли в крепость за гласный протест на митинге против присоединения Эльзаса и Лотарингии. Вскоре за ними последовали, за такой же протест, Бебель и Либкнехт. Но немецкое правительство стремилось именно отобрать у Франции Эльзас и Лотарингию; оно хотело также взять столицу Франции, наложить тяжелую контрибуцию, и немецкие войска вскоре обложили Париж и начали осаду.

Тогда многим стало ясно, что Германия вела войну вовсе не против Наполеоновского властолюбия, как говорилось вначале, а против всего того, что представляла собою Франция в Европе. Революционерам стало ясно то, что так ярко излагал Бакунин в «Письмах к французам», — т.е. что поражение Франции будет поражением революционного духа во всей Европе, — по крайней мере на полстолетия. Гарибальди высадился в Марсели, и к нему начали собираться волонтеры всех национальностей на защиту республики, а в самой Франции был сделан ряд попыток провозгласить Коммуны, составить федерацию вольных Коммун, и, сражаясь против феодальной Германии, вместе с тем поднимать народное восстание и начинать социальную революцию.

Эти попытки и подготовили умы к провозглашению Коммуны в Париже.

15-го сентября Бакунин был уже в Лионе, подготавливая восстание, и 28 сентября, пользуясь рабочей манифестацией, движение началось. Рабочие овладели Ратушей и объявили низложение всех властей; но движение не было поддержано массой рабочих, и буржуазия скоро восстановила «порядок». Характер, который Интернационалисты хотели придать восстанию, был выражен в прокламации, выпущенной ими за два дня до начала движения; в ней предлагалось народу провозгласить низложение всех государственных властей и установить на их место общинные Комитеты спасения и федерацию таких комитетов; уничтожить суды и существующие подати, а равно все взыскания по закладным; новые же подати взыскивать с богатых, сообразно потребностям резолюции.

Вслед за Лионом подобные же движения произошли в Марсели (с 31 октября по 3 ноября), в Руане, Бресте и наконец, в Париже, тоже 31 октября, под руководством Бланки. Везде народ волновался, и везде являлась мысль, что только революционная Коммуна могла бы спасти Францию от полного разгрома. Но везде буржуазия, видя, что революция не ограничится одним политическим переворотом, а сразу примет оборот народный, социальный, немедленно выступала с энергией и, поддерживаемая буржуазным правительством Гамбетты, заседавшим в Туре, немедленно задавливала движение. Народ же был безоружен и чувствовал свое бессилие; притом в народном уме не было центральной идеи, на которой могли бы сойтись люди, желавшие социального переворота.

Тем не менее, мысль о Коммуне, которая подобно Парижской Коммуне 1792-го года, взяла бы в свои руки защиту территории и задачу социально-революционной ломки существующего, — эта мысль росла во Франции, и как только, по заключении мира, к тому представилась возможность, Парижский народ, вооружившийся во время осады, провозгласил свою Коммуну.

II

По мере того, как центральное правительство оказывалось всё более и более неспособным остановить немецкое нашествие, в главных умственных центрах Франции всё определеннее росла мысль о независимых революционных Коммунах. Вступивши в федеральный союз, они смогли бы организовать революционный отпор народа немецкому вторжению.

Более всего эта мысль росла в Париже, во время трехмесячной осады немцами. Совершенная неспособность правительства организовать защиту Парижа и его прямое нежелание воспользоваться силою народного творчества и героизма масс, для защиты города и для отражения немцев, открыли глаза рабочим. Известно, что была минута, когда кольцо немецких армий, окружавшее Париж, едва не было пробито вылазкою парижан, в связи с армиею, шедшею на помощь с юга; но буржуазное начальство прямо-таки не хотело, чтобы, после поражений армий, вооруженный народ освободил Францию от вторжения. Оно боялось народа более, чем немцев, а тем более — народа вооруженного и победоносного. — «Тогда начнется снова 1793-й год», — говорили они.

Они предпочли, поэтому, просто морочить парижан, забавлять их и, наконец, сдать столицу немцам, под предлогом голода, тогда как провизии имелось еще месяца на два. Мец был

сдан изменником Базеном; Париж — изменниками Жюль Фавром и Трошю.

Тогда мир был заключен. В Бордо собралось Национальное Собрание — полное олицетворение страхов сельской и городской буржуазии за свои карманы — и его вражда к патриотам, желавшим продолжения войны, к народу вообще, к республике, и в особенности к мятежному Парижу, не знала границ. Собрание освистало Гарибальди, оно проклинуло даже Гамбетту, и с минуты на минуты можно было ожидать, что Собрание восстановит монархию — может быть, даже жену Наполеона, Евгению, с ее сыном...

Но, за время осады, народ Парижа, уже до войны проникавшийся идеями социализма, многому научился из самой жизни. Когда немцы окружили Париж своим железным кольцом, и ясно стало, что осада затянется, естественно было бы смотреть на весь город, как на большую семью: прекратить взнос платы за квартиры (так как все работы остановились), составить списки всех имевшихся запасов провизии, и выдавать порции всем одинаково, по потребностям — словом, сделать то, что лучше всего могло бы обеспечить защиту укрепленного города. Ничего этого буржуазия не допустила. Беднота голодала и дрогла от холода, рабочие дети мерли поголовно от холода и голода, и народ понял тогда, что между им и буржуазией — пропасть, которой ничем, даже в такие минуты, не заполнишь.

Тогда мысль о революционной Коммуне, подобной Коммуне 1792-го года, — которая уравнила бы бедных и богатых, стала все настойчивее определяться в умах парижан.

Во время осады все парижане были вооружены. Образована была национальная гвардия, и парижане настояли на том, чтобы в каждом батальоне все офицеры были выборные. Таким образом, из командиров батальонов составилась особый Центральный Комитет, вполне народного характера, в котором преобладающим элементом были рабочие — члены Интернационала и бланкисты.

Наконец, некоторые рабочие батальоны из последних своих грошей заказали себе пушки и митральезы (теперь — пулеметы), которые были, таким образом, собственностью самих батальонов. Эти пушки они не сдавали теперь правительству (которое намеревалось, между прочим, отдать их немцам), а увезли в рабочий квартал, на вершину Монмартрского холма, где народ окружил их окопами и охранял день и ночь.

Буржуазное правительство было в руках Тьера — одного из самых подлых министров Людовика-Филиппа сороковых годах, типичного буржуа, злого, народоненавистника, и при том чванного историка, мечтавшего усмирить, укротить народ по своему плану. Еще в 1848 году он составлял план усмирения Парижа на долгие годы, при помощи полного разгрома. А Народное Собрание было, пожалуй, еще гнуснее Тьера. Оба сообща решили ни за что не возвращаться в Париж, которого они боялись, а заседать в Версали. Париж переставал, таким образом, быть столицей.

Но этого мало. Париж им надо было обезоружить, так как буржуазия не могла успокоиться, пока парижские рабочие оставались вооруженными. А чтобы обезоружить народ, надо было начать с пушек. И вот, в ночь с 17 на 18 марта, правительственные войска таинственно задвигались по Парижу, занимая главные позиции, важные в случае уличной войны, а

артиллеристы были посланы захватить потихоньку пушки.

Но народ не дремал. На Монмартре забили тревогу. Рабочие батальоны стали быстро собираться, а с рабочими шли их жены и сестры; они вмешивались в ряды солдат, братались с ними, дружески говоря им: «неужели вы нас убивать хотите?», расстраивали; их отряды, — и дело кончилось тем, что солдаты переставали слушаться своих офицеров и поднимали ружья вверх прикладами.

А тем временем Варлен (друг бакунистов) со своим батальоном уже бежал к Городской Ратуше, а за ними следовали другие рабочие батальоны. Крик «Коммуна!» всё определеннее выяснялся среди них.

Тьер поторопился вывести все войска из Парижа, чтобы они открыто не перешли на сторону восстания, и велел всем государственным чиновникам оставить свои места и выехать в Версаль.

И вот, к вечеру, без баррикадной борьбы, без пролития крови, Париж оказался свободным. Народ только расстрелял двух генералов, Клемана и Тома, из которых один прославился еще в июне 1848 года в избиении рабочих. В ратуше была провозглашена Коммуна, и Париж оказался, таким образом, распорядителем своих собственных судеб.

Сильно бились сердца у парижан в эти весенние дни 1871-го года. Всеми чувствовалось, что начиналось что-то новое, зарождалось что-то, еще небывалое в истории. Даже буржуазия это чувствовала, «и когда мы с братом выходили из нашей мансарды на улицу, — так говорил мне Элизе Реклю, — даже буржуа из наших знакомых окружали нас и говорили: Что ж, идем вперед! Мы готовы! Говорите — что делать!».

В былые времена, как только совершалась революция в столице, Париж назначал временное правительство и рассылал предписания по всей Франции. Теперь он сам себя развенчивал. Он объявлял, что управлять Францией он не претендует. Но и не хочет также, чтобы Франция управляла им; он — независимая Община. Он вступит в договор со всею Францией, с другими Общинами. Он будет с радостью нести свою долю налогов, платежей, долгов, контрибуций, — сколько падет на него. Он охотно пойдет на защиту всей Франции.

Но у себя дома, он — хозяин. Сам Париж решит для себя, как ему жить и распоряжаться в своих стенах: как кормиться, что производить, какое политическое устройство себе дать, как учить своих детей, как защищаться.

Дробить Францию на мелкие государства он не желает. Напротив, — с другими вольными Общинами он вступит в тесную связь, и эта связь, прямая, непосредственная, будет гораздо теснее, чем та, которая существует через посредство Палаты и правительства, которые в действительности вовсе не представляют страны. Но парижане хотят республики, и монархии не примут, если остальные деревни или города захотят искать себе царя. Если этим деревням нужны попы, освященные папою, то Парижу они вовсе не нужны, и он попам платить ничего не будет. Словом, во весь внутренний распорядок своей жизни он никому не даст вмешиваться.

Правда, парижане отлично понимали, что имея, с одной стороны, против себя немецкую армию, а с другой — Версальскую, у молодой Коммуны мало было надежды победить. Разгром был почти неизбежен. Но сила событий могучее, чем рассуждения отдельных личностей, и все шли вперед, понимая, что даже в случае поражения новая идея будет провозглашена, эта новая идея не даст монархии водвориться во Франции.

А идея была — действительно новая. Парижская община выдвинула вперед НАРОД, вместо Правительства. Не вожаков, не политиков, а народ. Первые прокламации Коммуны были подписаны переплетчиком, рудокопом, поваром, — рабочими — и ни одного адвоката, ни одного депутата, ни одного журналиста, ни одного генерала!.. (прим.: На это указал уже Артюр Арну в своей «Народной и парламентской истории Парижской Коммуны», в 3-х томах. Ее давно следовало перевести, а не плохонькую, излюбленную марксистами историю Лиссагрэ) Еще бы буржуазии не отнестись к ней с ненавистью! И этот народ, в такую пору, когда все казалось так смутным, сразу ставил целую программу будущего:

«Независимая Община, в которой мог бы развиваться социалистический строй».

За последние годы в Париже много говорилось на народных собраниях о социализме. Необходимость социальных преобразований хорошо понималась парижскими рабочими — самыми развитыми рабочими всего мира; но они понимали также, что необходимо найти новую политическую форму, в которой социализм мог бы осуществляться, и искали ее.

Что эта форма не может быть централизованная республика, управляемая Палатой, хотя бы и избранную всеобщей подачей голосов, — в этом французы убедились горьким опытом в 1848–1850 годах. Парижские рабочие понимали, что вручить государству, в придачу ко всем теперешним его правам, заведование производством и распределение того, что нужно людям для жизни, — это значило бы создать самую ужасную тиранию. Нужно было искать для социального строя новую форму политической жизни.

Париж указывал теперь эту форму. Это будет Вольная Община, независимая Коммуна, а не национальный парламент. Не дожидаясь остальной Франции, Коммуна должна начать у себя, в своей более тесной среде, необходимые социальные преобразования. Рабочие союзы, как в Интернационале, должны стать ячейкой общественного производства. Их федерация составит Общину, а из федерации Общин сложится нация.

К несчастью, в жизни всякая новая идея должна считаться с пережитками старого, и консерватизм людей таков, что всякую, даже новую, нарождающуюся форму жизни они постараются сперва втиснуть старые рамки. Так вышло и с Коммуной.

Следуя по проторенной дорожке, Центральный Комитет, т.е. Совет рабочих депутатов, выбранных батальонами национальной гвардии, — вынесенный переворотом 18-го марта ко власти, — сейчас же прижил парижан выбрать себе правительство. Вместо того, чтобы обратиться к рабочим массам и постараться создать, при их помощи, нового рода администрацию для снабжения всех жителей города пищею для реорганизации промышленной жизни Парижа, Центральный Комитет назначил самые обыкновенные городские выборы. Замечательно, что весь Париж, включая буржуазию, откликнулся на эти

выборы, — до того все были недовольны правительством Тьера и его компании, — и 230 000 человек приняли в них участие. Выбраны были лучшие революционеры всех оттенков, и 28 марта собрался «Совет Коммуны». Центральный Комитет сдал ему всю власть.

Это была первая, тяжелая ошибка Коммуны. Отныне она имела свое правительство, и, как во всяком правительстве, в ее Совете оказалось гораздо более защитников старых воззрений, чем поборников новой идеи — гораздо более «демократов» старого закала, хотя и «революционеров» в смысле готовности к насильственным мерам, — чем сторонников Коммуны, рассматриваемой как ячейка социального переворота.

Такое понимание Коммуны еще не успело широко распространиться; и далеко не все, особенно из так называемых «интеллигентов», так понимали ее назначение. Революционеры из бланкистов и якобинцев, как буржуа, так и рабочие, в одинаковой мере, не придавали должного значения новому принципу независимой общины и федерализма — не понимали его.

А между тем эти якобинцы составляли большинство Совета Коммуны (около 60-ти членов), тогда как меньшинство, коммунистов-социалистов, составившее преимущественно из членов Рабочего Интернационала, насчитывало всего 22 человека. При том, в первой группе стояли как раз те, которые, подобно Феликсу Пиа, или Делеклюзу, приобрели большую известность, как «революционеры», а во второй группе стояли именно «неизвестные» из народа. Для Якобинцев идея Вольной Коммуны, как ячейки для социальной перестройки народом, почти не существовала. Государство, а в государстве диктатура — их диктатура — было их идеалом. И, к сожалению, многие из молодых всею душою отдались этому якобинству. Властвованье — заразительно: мы уже успели в этом убедиться, даже в нашей русской революции.

III

Два враждебных мира стояли друг против друга, в Версале и в Париже. В Версали собрался теперь весь тот чиновный мир, который правит Францией в обыкновенные времена, весь торговый и банкирский круг, который грабит ее, и весь праздный мир богатых, который прожигает в безумной роскоши и разврате богатства, накапливаемые трудом бедноты. И с невыразимой ненавистью смотрели они на этих восставших парижан, заставивших их покинуть Париж, как раз в ту пору, когда они собирались, по заключении мира, вернуться к веселью и разврату наполеоновских времен и подготавливать возврат империи, или, по крайней мере, короля, взамен ненавистной им республики. А в Париже — стоял рабочий народ, изгнавший своих правителей и владык, полный смутных надежд на что-то новое, что поведет людей к равенству и свободе.

Борьба между этими двумя мирами должна была завязаться не на жизнь, а на смерть. Один из противников должен был быть побежден и разбит. Соглашение было невозможно.

К сожалению, ни у рабочих, ни у сочувствовавших им революционеров из интеллигенции в ту пору не было определенного представления о том, что следует делать, с чего начать,

чтобы идти к рисовавшемуся перед ними в тумане идеалу социальной республики. Интеллигенты жили традициями якобинцев 1793-го г., а рабочий Интернационал едва начинал познавать себя и свои рабочие задачи. Только в 1868 году на брюссельском конгрессе был поставлен вопрос о национализации земли, и год спустя, в Базеле, Бакунин поднял вопрос о том, что передача богатств по наследству должна быть уничтожена; но и то его предложение встретило мало сочувствия.

Мысль о том, что рабочие Парижа имеют такое же право на все дома в столице и на все ее фабрики и заводы (нужные для дальнейшей жизни), как и буржуа, владеющие ими по закону, — эта мысль, которую и в Интернационале еще не решались ставить открыто, была еще чужда рабочей массе, а тем более тем интеллигентам, которых восстание и выборы вынесли в Совет Коммуны. Громадное большинство их с полным еще уважением относились к личной, буржуазной собственности.

— «Отчего вы не экспроприировали? не объявили, например, жилые дома городской собственностью?» — спрашивал я впоследствии членов Совета Коммуны, которых знал в Швейцарии. — «Нам это не приходило в голову, — самое слово было чуждо», — говорили они.

Конечно, эта мысль была так верна, что если бы она была выдвинута (а сделать это пробовали Варлен, Дюран, Малон и другие члены Интернационала), она была бы понята и одобрена рабочими. Но для этого требовалось время — а Коммуна жила всего только семьдесят дней. И лучшее время, начало движения, пора энтузиазма, было упущено.

Кроме того, присутствие немецких армий вокруг Парижа парализовало силу революции. Всем было ясно, что если Коммуна выступит на путь социальных мер, немцы будут бомбардировать Париж и начнут его осаду, совместно с французскими армиями, которые они с этой целью и выпустили из плена и привезли в Версаль. Все это понимали, а теперь известно из обнародованной переписки, что Бисмарк действительно предлагал Тьеру и Жюль Фавру усмирить Париж, и что эти «патриоты» упросили немецкого владыку вернуть им из плена одну французскую армию, после чего они уже брались сами усмирить парижан.

Война — дикая, жестокая со стороны Версальцев — началась уже через две недели после провозглашения Коммуны. 2-го апреля версальцы захватили врасплох один пикет Коммуны и расстреляли его, а Галифе, наполеоновский генерал, теперь на службе у Тьера, хвастался этим в своей прокламации. Ясно было, что война будет на жизнь или смерть.

Началась правильная осада Парижа версальцами, — с траншеями и подступами, для постановки батарей. Париж окружен довольно прочными стенами, с бастионами и рвами, и кроме того, — цепью фортов, которые были теперь в руках Коммуны, за исключением одного, чуть ли не главного, Мон-Валерьяна. Сюда, по оплошности некоего Люлье и американского «генерала», В. Кюзерэ, назначенного военным «министром», не было введено гарнизона от Коммуны, а удовольствовались обещанием коменданта, оставаться нейтральным (*прим.: Бестолковое поведение Кюзерэ в Лионе, при объявлении Бакуниным Коммуны в Лионе, а потом в Марселе, могло бы, впрочем, открыть глаза. Лично он был очень храбр, но народной войны не понимал*). Обещание это, конечно, было нарушено. Когда, 3-го

апреля, часть парижан, возмущенных поведением Галифе, решила идти походом на Версаль и двинулась двумя колоннами — одна на Кламар, а другая мимо Мон-Валерьяна (полагаясь на его нейтралитет), комендант этого форта внезапно открыл смертоносный огонь по второй колонне, вследствие чего произошла, конечно, паника, которую Версальцы едва не воспользовались, чтобы ворваться в Париж (*прим.: В этом деле был убит Бержере, «генерал» Коммуны, и взят в плен Элизе Реклю. Когда он узнал о предполагавшемся походе на Версаль, он, который отказался от всяких «мест», а просто стал с ружьем в ряды своего батальона, присоединился к волонтерам, шедшим на Версаль. Когда пленного Реклю, со связанными руками, вместе с другими пленными коммунарами, ввели в Версаль, их встретила куча офицеров, расположившихся вдоль тротуаров, с коготками под руку, и мужчины кулаками, а коготки — зонтиками били измученных и окровавленных пленников. «Один из них, — говорил мне Реклю, — член Географического Общества, если не ошибаюсь, ударил меня из всей мочи кулаком в лицо — и без того измученный, я упал в обморок». Потом, когда их держали пленными, развратницы наполеоновской империи приходили смотреть их, как зверей. — «О, посмотрите, какое ужасное зверское лицо», — восклицала одна из этих барынь, тыкая зонтиком в Реклю, которого чудное лицо, как известно, поражает своей вдохновенной и мужественной красотой).*

Раз началась война с Версалем, военная защита Парижа неизбежно поглотила всё внимание. Но якобинцы и бланкисты, составлявшие большинство правительства в Коммуне, не поняли одного: что успех всякой войны зависит, прежде всего, от численности армии («бог войны всегда на стороне крупных батальонов», — говорил Наполеон), и что в революционной войне численность армии прямо зависит от того, насколько революционно начавшееся движение. Чтобы защищать Париж, надо было поднять всё его рабочее население; а поднять его можно было только, показавши рабочим, — фактами обыденной жизни, — что для них начинается новый строй общества, новая эра, эра социальной революции, — плоды которой самая скромная работница увидела бы в своей собственной жизни и обстановке.

Между тем, в то время, как во всякой рабочей семье стал вопрос, — чем заплатить за квартиру, и где на завтра достать хлеба? — ничего не было сделано, чтобы показать рабочему, что в Коммуне, для человека, готового работать, таких вопросов уже не может быть. Необходимости это сделать большинство членов Коммуны не понимало. — «Через Коммуну мы пойдем к социализму», — говорили они; тогда как только социалистическими мерами можно было вдохновить рабочую массу на защиту Коммуны.

Самая идея, создать в революционной Коммуне — правительство, была ложная и пагубная идея. Только оставаясь в тесной, ежечасной связи с народом, могли эти революционеры стать на высоту своего положения. Вместо того они ушли от народа, заперлись от него, как самые обыкновенные бюрократы. Вместо того, чтобы вместе с народом, пользуясь народным умом, искать вместе с ним, — что делать, они, отделившись от него, с первых же дней брались, как все правители всех времен, «сделать» то-то, «решить» то-то, «излечить раны», «восстановить промышленность и труд», «двинуть вперед всю жизнь общества»...

Погибнуть на баррикадах, — это они могли, и действительно погибли, как герои. Но войти в образ мыслей рабочей массы, жить и думать с нею, — это было свыше их сил. Народу — они

были чужаки.

Со времени первой осады немцами, большая часть парижской промышленности остановилась. Заработка не было, за квартиры платить было нечем, и у большинства рабочих накопились крупные недоимки. И домовладелец, и рабочий пострадали от войны, но рабочий пострадал, конечно, гораздо больше хозяина, а потому было бы простой справедливостью признать, что платить за квартиры ничего не следует. Но этого Коммуна не сделала. Она объявила, правда, что квартиранты могут не платить за последние девять месяцев, по 1 апреля 1871. Но когда было указано, какие нужны дальнейшие меры, чтобы указ перестал быть простою бумагой и перешел в жизнь, — то ничего для этого не было сделано (*прим.: См. подробности об этом у Лефрансе в его прекрасной книге «Etudes sur le Mouvement communaliste»*).

Но чем кормиться было рабочему? Чем кормиться семье того, кто проводил недели за неделями в бастионах, на стенах Парижа? — Им Коммуна назначила всего полтора франка в день — шестьдесят копеек! И это — в осажденном городе, где цены на припасы снова поднялись до невозможности. И это — тогда, когда Коммуна имела в своем распоряжении Французский Национальный Банк, который она охраняла от грабежа, и из которого не одно правительство, раньше, не задумывалось черпать нужные ему на расходы суммы. Вместо того, Коммуна великодушно заняла у банка только восемь миллионов франков (меньше 3 000 000 руб.) сверх тех десяти миллионов, которые лежали в банке на счету у города Парижа.

Демократизм коммуналистов был таков, что самое высокое жалованье, которое мог получать кто-нибудь в Коммуне, было определено ею в 6 000 франков в год. Себе же они назначили всего по 15 фр. (6 р.) в день, т.е. жалованье хорошего парижского рабочего. И этой скромности, буржуа, привыкшие грабить государство, им не простили до сих пор. Но положение рабочего от этого было не лучше. Разве его семья могла кормиться на полтора франка в день! Нищета по-прежнему была уделом тех, кто проливал свою кровь ради светлого будущего строя!.. — «Rien de changé!» (все по-старому!), говорили жена и мать рабочего, думавшие, что Коммуна — это, наконец, революция для народа... Только под самый конец, когда народ стал брать дело в свои руки, стали устраивать в рабочих кварталах общественные кухни. И тут — благотворительность, вместо права на жизнь, на довольство.

И увы — нужно тоже сказать, что если большинство Совета, живя мыслями в политическом прошлом, не понимало нужд народа, то меньшинство совета Коммуны, большею частью социалисты, тоже не сумели взять на себя почин нужных мер. Они не были достаточно революционны, т.е. не умели достаточно смело порвать со старым.

Всё, что коммуна сделала для рабочих, это: 1) назначение «Комиссии инициативы», составленной из представителей рабочих обществ, Интернационала и т.д. для выработки экономических докладов и проектов; 2) прекращение ночной работы в булочных; 3) мастерские, покинутые хозяевами, после должного следствия, переходят в руки рабочих ассоциаций; и 4) Коммуна послала в провинции полу-социалистическое воззвание, составленное Маломом и писательницей Андре Лео. Малон рассказывал мне, как трудно

было добиться разрешения на это последнее. Что же до закона о мастерских, то он так и остался на бумаге.

Главное, что требуется для успеха всякой революции, это — революционность мысли: способность выступить на новые пути жизни, способность изобрести новые формы борьбы и суметь понять те неясные указания на новый строй, которые дает народная жизнь. Всякая революция есть эпоха прогресса в человечестве, а прогресс обуславливается, прежде всего, созидательным творчеством.

Не в том состоит революционность, чтобы повторять приемы предшествующих революций, или не останавливаться ни перед какими средствами для истребления врагов, защитников старого порядка, — средствами, большей частью старыми, как свет, так как ими пользовались во все времена все получавшие власть. Во всякой борьбе, как во всякой войне, успех бывает на стороне тех, кто пускает в ход новые способы борьбы, — тем более в революционной борьбе.

В данном случае, парижский народ, вооруженный во время войны, указал новый способ борьбы со старым миром: Коммуну; и задачей истинных революционеров должна была быть — развивать это великое, плодотворное начало во всех направлениях, во всех отраслях общинной жизни — как это делали восстававшие Коммуны в средние века, в двенадцатом столетии, когда начало общинной жизни и независимости они проводили во весь строй общины (уличанское вече, уличанская и гильдейская милиция, общинная покупка запасов, гильдейский склад жизни, свой суд в квартале, в гильдии и т.д., и т.д.). Но оказалось, что иссушенные буржуазно-авторитарною цивилизацией девятнадцатого века, даже лучшие люди оказались совершенно неспособными ни на какое творчество новых форм жизни. Хуже того, они не понимали их возможности, их необходимости: они даже не думали, чтобы требовалось что-либо, кроме избитых форм парламентского представительства и начальствования, с неизбежной лестничной иерархией. И когда раздавались смутные голоса, скромно замечавшие, что нужно что-то другое, что-то новое, чтобы создать Коммуну; что Парижская Коммуна, заставившая биться сердца миллионного населения, пока еще только имя, форма, для которой надо найти ее действительное содержание, — их не понимали.

Но народ? Отчего же народ сам не выдвинул этой задачи: созидания Коммуны, которая, созидаясь, каждый день привлекала бы на свою сторону новые силы? Отчего он не начал творить, созидать, и всей Франции, стоявшей в недоумении, спрашивавшей себя: «Что такое происходит в Париже?» — не показал, что там зарождается новый строй общественной жизни, который все повседневные отношения людей переустраивает на началах равенства и справедливости? отчего?

Да оттого, что народ, рабочая масса, тоже несет отпечаток тех форм, в которые выливается буржуазная наука. Статья, написанная в рабочей газете, речь, произнесенная на собрании, формулированное предложение, внесенное на собрании — всё это требует литературной формы, умения владеть речью или пером, образования, черпаемого из книг. И рабочие, необходимо обращающиеся к книге, становятся во всем этом в крепостную зависимость от литературы, созданной буржуазией для укрепления своих, буржуазных идеалов, от ее форм

мышления, от ее идеалов общественной организации.

Но одно надо сказать к чести Парижской Коммуны. Среди ее интеллигенции, рабочей и буржуазной, было уже небольшое ядро, которое понимало, что не в диктатуре дело, не в якобинстве, а в чем-то таком, что надо сделать на месте, в самих рабочих кварталах, и что это нечто, которое надо сделать, одно в силах спасти Коммуну и противопоставить версальцам силу, которая удержит их натиск и откроет провинциальной Франции глаза на великую борьбу, начавшуюся в Париже. Такое ядро было, и оно даже имело своих представителей в правительстве Коммуны, в меньшинстве ее совета.

Но и это меньшинство обессилило себя. Составлявшие его рабочие интеллигенты думали, что их долг был войти в правительство Коммуны и взять на себя полную долю ответственности, в случае если — как они предвидели — восстание закончится поражением.

И они вошли в Совет Коммуны. А раз они были там, они почувствовали, что сразу были оторваны от народа. Всё время их оказалось властно захвачено всякими пустяками, административной сутолокой и т.п. Надо было поднимать население, а им приходилось убеждать друг друга в самых насущных мерах, надевать красный шарф и венчать в Мэрии, подписывать свидетельства о благонадежности и вести сложную отчетность, — словом, поддерживать всю обычную скрипучую административную машину.

И когда в рабочей среде, которая изнутри видела и жизнь батальонов в бастионах, и жизнь бедноты в рабочих кварталах, а не из окон Городской Ратуши, — когда среди рабочей бедноты высказывались тысячи мыслей о том, что следовало бы там-то пустить в ход такую-то мастерскую, тут-то открыть общественную кухню, так-то организовать продовольствие такого-то предместья и так-то составить боевые батальоны, — некому было даже обсудить, оформить эти мысли и приложить их к жизни. Ибо интеллигенты-коммунары, живя традициями воображаемой Диктатуры Конвента в 1793 и 1794 году, и совершенно не зная истинной жизни Парижа в эту пору — кипевшей в его сорока восьми секциях (*прим.: Эту жизнь только теперь мы узнаем из новейших работ о Великой Революции*) — даже не подумали о том, чтобы были органы для проявления этой народной жизни. Народная сущность революционной Коммуны 10-го августа 1793 года была им чужда. От этой Коммуны они взяли только имя.

Стотысячная армия Версальцев, привезенная из немецкого плена, и армия немцев вокруг Парижа, — всё это, конечно, были силы, которые нелегко — скажу больше: нельзя было победить. Но Коммуна могла продержаться более двух месяцев, а каждый лишний день, что она продержалась бы, давал ей возможность открыть глаза провинциальной Франции. Признаки пробуждения уже были несомненные. Попытки провозгласить Коммуны были сделаны в Сент-Этьенне, Лионе, Марсели, Нарбонне, и симпатия к Парижу росла.

Провинция могла, если не стать за Париж, то, по крайней мере, стать между версальцами и Парижем, и тогда падение Коммуны не закончилось бы дотоле неслыханным в истории кровопролитием. И торжество реакции не было бы так полно. Оно не продержалось бы доныне. Оно не убило бы мысли, как ее убили последние тридцать пять лет торжества немецкого военно-государственного духа.

IV

Что парижские рабочие обладали поразительными организационными силами, и могли бы организовать действительно новый организм, Коммуну, если бы только дали волю творческому духу социальной революции, — это они блистательно доказали. Когда Тьер покинул Париж, он приказал всем государственным чиновникам оставить свои места и выехать немедленно в Версаль. Большинство так и сделало, и, таким образом, почта, мэрии и все министерства остались без чиновников. Но почтальоны остались, и тогда, в два-три дня, член Коммуны, Тейс, вместе с почтальонами и мелкими служащими, реорганизовал почту так, что иностранные корреспонденты, оставшиеся в Париже, восхищались ее организацией. То же было сделано в министерствах. Вообще организационные способности рабочих вызвали удивление всех участников восстания.

Любопытно также, что хотя в Париже не было полиции (полицейские и шпионы, к сожалению, остались и «работали» втихомолку в пользу Версаля), хотя не было ни судов, ни судей, ни жандармов, и не ходило даже вооруженных патрулей по улицам, — случаев грабежа и личных нападений вовсе не было. Все иностранцы заметили тогда, что при Коммуне, в Париже, было безопаснее, чем когда-либо...

А тем временем, траншеи версальцев все ближе подступали к главным западным воротам Парижа, а установленные ими тяжелые батареи бомбардировали укрепления и западные предместья. Гранаты бороздили все время их улицы и решетили дома. Жить в этих предместьях стало невозможно. Некоторые форты пришлось сдать. Защита становилась всё труднее и труднее.

Совет Коммуны сместил Кюзерэ, заменив его Росселем, а вскоре сменил и Росселя, заменив его стариком Делеклюзом; но батальоны, выходявшие на защиту стен, редели с каждым днем.

Наконец, 21-го мая, версальцы вступили в Париж, — одновременно двумя воротами: Отейль, против Елисейских Полей, и Версальскими на левом берегу — и тут началось то страшное кровопролитие и истребление рабочих, длившееся восемь дней, — которое известно в истории под именем Кровавой Недели.

Быстро подвигаясь вперед, версальские армии заняли высокие, кварталы западного Парижа и Марсово Поле на левом берегу. На другое утро их гранаты обстреливали уже улицы Риволи и Сент-Онорэ и зажгли министерство финансов, а также много домов на левом берегу. Рабочие оставляли защиту внешних частей города и, как в 1848 году, шли защищать свои бедные кварталы, на левом берегу и в Монмартре. И тут, в этих кварталах, уже раньше обогранных кровью рабочих, вырастали герои, и десятки тысячи мужчин, женщин и даже детей воздвигали баррикады и, как львы, дрались для их защиты.

На правом берегу, в барской части Парижа, версальцы продолжали наступать. Защитники Коммуны зажгли Тюильрийский дворец — этот памятник всех гнусностей королевской власти и двух империй, и решили сосредоточить главную свою защиту на правом берегу,

вокруг Ратуши, окруженной громадными баррикадами, а на левом — в южной части города, в кривых, узких улицах старого Парижа. Но в среду утром, 24-го, они с ужасом увидели, что Ратуша — этот центр революционного Парижа, где была сосредоточена также масса снарядов, внезапно запылала так же, как и Префектура... Оба здания были подожжены агентами версальцев. Баррикады, окружавшие Ратушу, пришлось покинуть.

Народ теперь брал дело в свои руки. — «Довольно галунов! место народу!» писал старик Делеклюз — якобинец, но якобинец, веривший в народ — в своей знаменитой предсмертной прокламации, и сам вмешался в темные ряды рабочих, чтобы пасть на защищаемой ими баррикаде.

Иступление овладевало версальскими войсками. Они получили приказ расстреливать всех пленных, и расстреливали со злобой, с остервенением... Рабочие, с своей стороны, решили дорого продать баррикады своих родных кварталов — улицы Сен-Жак, площади Пантеона, на левом берегу Сены, и Монмартра на правом. Но версальцы не брали баррикад приступом. Пробираясь топорами и ломом из дома в дом, они пробирались в тыл баррикадам, и тогда перестреливали в упор их защитников. Если рабочие сдавались, — их вели в плен, и по дороге Галифе и другие генералы приказывали вывести 20, 30 человек — «берите седебородых: они знали 48-й год», — приказывал Галифе, — и расстреливали тут же, на улице, оставляя на месте кучи убитых и раненых.

У внешних стен пленных ставили на край крепостного рва, у подошвы стены, и с другого берега рва в них стреляли митральезами, «кофейными мельницами», как острили версальцы. Трупы валились, вместе с ранеными, во рвы. На площадях расстрелянных сваливали в ров и заливали известью. На следующее утро виднелись руки, высунувшиеся в ужасных мучениях из-под извести. Над трупами женщин — а много рабочих женщин сражалось на баррикадах — солдаты выделывали невозможные ужасы.

«Расстреливайте их волков, волчиц и волчат!» — вопили «представители народа» в версальской Палате — и после этой бойни Палата вотировала единогласно благодарность армии...

Самые точные подсчеты, сделанные Клемансо, во время подробного следствия, дают, по меньшей мере, 35 000 человек убитых за одну неделю — преимущественно расстрелянных версальцами военнопленных.

А затем начались аресты и ссылка — все ужасы плена на плато Сатори, где в пленных стреляли в упор, если кто-нибудь из них поднимался с мокрой от дождей земли, — все ужасы тюрем и Новой Каледонии. Около 100 000 парижских рабочих было перебито или сослано после поражения Коммуны.

И, перебирая все ужасы «Кровавой недели», рабочие выводили такое заключение: «Положим, что вокруг Парижа стояли немцы, которые пришли бы на помощь буржуазии — послали же они своих броненосцев расстреливать Картагенскую Коммуну! Но помимо этого, — стоило ли рабочим так бережно относиться к буржуазной собственности? Если бы они, не слушая вожаков, смело, дерзко признали народную собственностью все дома, фабрики,

банки, магазины и все богатства Парижа, и если бы эта первая социальная революция тоже кончилась бы разгромом, — месть буржуазии могла ли быть более свирепой?»

Но память об этих зверствах живет в Париже — во Франции. Нигде в мире вражда рабочего против буржуа не залегла так глубоко в сердца народа, как во Франции, в Париже. Нигде в мире рабочий так не изверился в политические революции. Нигде он не понимает так хорошо, что в следующую революцию — его черед выступить вперед самому, и самому наложить руку на богатства, им же созданные.

И следующая революция во Франции — в этом нет сомнения — начнется при крике: «да здравствует Коммуна!» Но в этот раз — Коммуна народа, рабочая Коммуна, Коммуна, которая всем даст кров и пищу — коммунистическая Коммуна освобожденного народа.

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 25 апреля 2025 16:08:13

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 25 апреля 2025 16:16:07